



## Б. ФИЛИППОВ

### Заметки об Анне Ахматовой

Завтра утро меня разбудит,  
И никто меня не осудит,  
И в лицо мне смеяться будет  
Закононая синева.

Великопостные, голые, чуть набухающие ветки. В широкие окна струится прозрачная — как бы призрачная — мартовская синева. И здесь, вдали от невской столицы, вдалеке от России, может быть, еще сильнее звучит в душе такой глубоко русский, такой до боли близкий мотив:

Не последние ль близки сроки?..  
...Как в прошедшем грядущее зреет,  
Так в грядущем прошлое тлеет —  
Страшный призрак мертвой листвы.

Русская поэзия, как и русская философская мысль, всегда устремлялась к эсхатологии. Даже в самых низах народного сознания жил подспудно шепот пушкинского бродяги чернеца Валаама: «...знать, пришли наши последние времена»... И у Ахматовой то же. Она видит уже явственно, что, по крайней мере для нашего культурно-исторического эона, «пришли наши последние времена». И рубежом двух уже не чисто русских, а *мировых* эпох справедливо называет признанную первоначально за провинциальную — Октябрьскую революцию. Приемля или не приемля ее, все равно следует признать, что она вдребезги разбила весь старый мир во всем мире, и новый — двадцатый — век начался именно с нее, век, пришедший в огненном венце войн и революций —

А по набережной легендарной  
Приближался не календарный —  
Настоящий двадцатый век.

И это лучше поняла «взбесившаяся барынька, мечущаяся между будуаром и моленной», как обозвал Ахматову А. А. Жданов в своей черносотенной погромной речи, — чем понял это сам Жданов, сам Сталин, еще раньше — Ленин и иже со всеми ними. Ибо они, большие и малые делатели «нового мира», были только слепыми орудиями истории, в сознании своем не поднявшимися выше уровня плоскодонных французских материалистов-просветителей XVIII века и безнадежного тупицы Чернышевского... Историю как *искупление* первородного греха человечества понимали Достоевский и Блок, а за ними — Анна Ахматова. И революцию, и голод и холод послеоктябрьских лет и десятилетий — поняла как искупительную жертву:

Все расхищено, предано, продано  
 Черной смерти мелькало крыло,  
 Все голодной тоскою изглодано,  
 Отчего же нам стало светло? —

спрашивала Ахматова еще в 1921 году. И отвечала так, как надлежит отвечать поэту и христианке: потому что нищета, потеря близких, голод и холод, внешняя несвобода, даже рабство — для сильных духом лишь обостряют внутреннюю свободу, духовное освобождение от погрузившегося в дрязг обыденности нормально обеспеченного материального бытия. О, нет! — Это не оправдание насилия и рабства, террора и угнетения. Это — признание их за ниспосланное нам Промыслом *испытание* —

И так близко подходит чудесное  
 К развалившимся грязным домам,  
 Никому, никому неизвестное...

Это — не вульгарное «принятие Октября», приводящее к новому религиозному сознанию — наукообразному и антинаучному коммунистическому хилиазму: все мировое развитие заканчивается неподвижной и не подлежащей дальнейшему развитию вечностью: райским состоянием достигнутого наконец-таки коммунизма. Дальше — стоп, дальше запрещено всяческое движение, всяческое качественное изменение, всяческое развитие: куда теперь изменяться? — ведь цель всего исторического развития человечества достигнута и стала всемирной явью; *чему* развиваться: развитие — изменение, «переход (диалектический) в свою противоположность», а следовательно, уход от коммунизма. Но для Ахматовой все в мире — внешнем и внутреннем — в движении, в «беге времени» — для нее, как для всякого живого человека, а тем более творца, неподвижность — смерть.

Набухают и зеленеют почки. Сквозь мертвую листву прошлого пробивается юная весенняя трава. И теперь, как за сто двадцать лет перед тем, при молодом Достоевском —

Страну знобит, а омский каторжанин  
 Все понял и на всем поставил крест.  
 Вот он сейчас перемешает все  
 И сам над первозданным беспорядком,  
 Как некий дух, взнесется. Полночь бьет,  
 Перо скрипит, и многие страницы  
 Семеновским припахивают плацем.

Бьет полночь. Бьют барабаны немудрых побед и казней. Семеновский плац оборачивается уже не казнью Достоевского и петрашевцев, а расстрелом всего периода культуры европейского гуманизма. Оборачивается кризисом религиозного сознания, смертельной болезнью европейской государственности, тифозной горячкой европейской (а следовательно, и мировой — Гана и Конго не замена Европе) культуры. Огромным распятием стоит на зловещем перекрестке Истории Октябрь, и длинная тень его отбрасывается и на прошлое, и на будущее: ведь это правда, что «конец — делу венец», и сейчас, по плодам, легче и вернее познать и оценить и всю предыдущую историю; ведь это правда, что «настоящий двадцатый век» начался в Октябре 1917-го — век конца целого всемирно-исторического зона. И этот-то конец только и позволяет всем существом нашим, а не только умопостигаемо, понять, «как в прошедшем грядущее зреет, как в грядущем прошлое тлеет». Ахматова принимает Историю, принимает и Октябрь — как Суд Божий.

Этот рай, в котором мы не согрешили,  
 Тошен нам.  
 Этот запах смертоносных лилий  
 И еще не стыдный срам.  
 Снится улыбающейся Еве,  
 Что ее сквозь грозные века  
 С будущим убийцею во чреве  
 Поведет любимая рука.

История человечества, история человеческой культуры началась с грехопадения. И Ева уже чревата начинателем истории и культуры — братоубийцей Каином. Но ведь есть и другая сторона, другой полюс всего этого процесса: ведь история нашей всемирно-исторической эры своим сердцем, своим духовным средоточием не может не считать Боговоплощения и Богоискупления. Даже если вы материалист и атеист, но остаетесь

«мыслящим тростником», вы не можете не признать, что это был величайший момент во всей нашей культуре, основополагающий момент по крайней мере для всей средиземноморской культуры и истории. Два основоположных момента: грехопадение — в результате вкушения плода от дерева познания добра и зла, — и искупление через Боговоплощение и искупительную Божо жертву. И в центре ахматовского «Реквиема» — «Распяятие»:

Хор ангелов великий час восславил,  
И небеса расплавились в огне.  
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»  
И Матери: «О, не рыдай мене...»

(«Да, это, кажется, тоже неплохие стихи», — сказала о своем «Распятии» Ахматова в беседе с Г. В. Адамовичем.)

И пусть, пусть —

Осквернили пречистое Слово,  
Растоптали священный глагол,  
Чтоб с сиделками тридцать седьмого  
Мыла я окровавленный пол. —

Все равно: только в искупительном страдании за себя, за страну, за человечество, за Историю живет и дышит подлинный поэт, приемлющий мир в его грехе и святости, зле и добре —

О, нет, без палача и плахи  
Поэту на земле не быть;  
Нам поминальные рубахи,  
Нам со свечой идти и выть.

Такова Анна Ахматова? Да, и такова. Она многое, многое понимает. Она многое принимает. Не принимает только останки, мертвящего застоя. Грешная и праведная, а более — грешная, но живая история. Не бездумная «Осанна» первоизданного рая, до первоизданного греха: —

Этот рай, в котором мы не согрешили,  
Тошен нам.

Ахматову рядили и рядят по-своему, по своему усмотрению — кто как хочет. Одни — в «взбесившуюся барыньку, мучущуюся между будуаром и моленной», другие — чуть ли не в монашенку. А она — умный, живой человек, отвечает всем этим ее портретистам:

Какая есть. Желаю вам другую.  
Получше. Больше счастьем не торгую,

Как шарлатаны и оптовики.  
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,  
Ко мне уже ползли такие ночи,  
И я такие слышала звонки...

Время у Ахматовой. Миги, отдельные миги — это не время. Это — застылость, это — смерть. Это — система зеркал, непроглядной ночью глядящих друг в друга: «только зеркало зеркалу снится»... Только вечность, совокупляясь с мигами, создает длящесть, порождает *время*. И мы причастны этой сочности, мы заключаем в себе зерно ее —

Как в прошедшем грядущее зреет,  
Так в грядущем прошлое тлеет...

«Шаг времени», «Бег времени» — эти названия у Ахматовой не случайны. Она — поэт *истории*. Недаром музу истории — Клио — нередко изображают с зеркалом в руках. История, бег ее, все уносит, казалось бы, смерть торжествует:

Что войны, что чума? Конец им виден скорый;  
Их приговор почти произнесен.  
Но как нам быть с тем ужасом, который  
Был бегом времени когда-то наречен?

Болтовня салонных богословов о бессмертии и Боге, о теодицеях, не подтвержденная и не порожденная глубоким внутренним переживанием, только раздражает Ахматову:

Смерти нет — это всем известно,  
Повторять это стало пресно,  
А что есть — пусть расскажут мне...

Она верит — и не верит. Она, как Фома Неверный, хочет верить наверное, вложив свои персты в язвы гвоздные...

Не упомяну сейчас, у кого я читал, что кроме Надежды Яковлевны Мандельштам Ахматова не переваривала жен поэтов. Признавала и дружила только с Н. Я. Ненавидела жен и живых поэтов, и поэтов покойных. Впрочем, кого она любила, тот никогда для нее мертвым и не был. Ее любовь к литературе и к жизни делала ее любимцев вечно живыми, и к ним у нее было не литературное лишь, а сугубо *личное* отношение. Еще в молодости она писала — и это не был поэтический образ! —

Любовникам всем моим  
Я счастье приносила.

Один и сейчас живой,  
 В свою подругу влюбленный,  
 И бронзовым стал другой  
 На площади оснеженной.

Оба Александра были ей тогда бесконечно близки. Хотя и встречалась она с Блоком раз-два — и обчелся. И ничего решительно романтического в этих случайных встречах не было. А в старости сказала она и Г. В. Адамовичу, и Н. А. Струве, что она продолжает любить Блока, но он теперь ей *не нужен*. Зато любовь к Пушкину оставалась навсегда — от юных стихов: «здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни» и до педантичности научных, скрупулезных работ и набросков о Пушкине. Прочтите в этом томе — как старается *документально* доказать Ахматова, что Пушкин отнюдь на любил свою жену: Закревская, Оленина, Собаньская — только бы не Наталья Николаевна! «Знаете, на одном обеде в Москве я как-то разразилась гневной тирадой против Натальи Николаевны Пушкиной», — рассказывала она Н. А. Струве. Чувствуется, что Ахматова просто ревнует поэта к его жене! А Пушкин для нее *жив* —

И все, кого ты вправду любила,  
 Живыми останутся для тебя.

Редко встретишь художника слова, для которого история и современность, прошлое, настоящее и будущее сливались бы так непосредственно в живой единый процесс, в единый мощный поток — не теоретически, не умопостигаемо, а всем существом — до ревности и споров, до страсти и негодования...

...Все равно приходит расплата...

И еще: немало в позднем творчестве Ахматовой элементов *шестивия* — или бег, шага или марша! На этом построена вся «Поэма без героя», и в ней же недаром поминаются и похоронный марш Шопена, и отступающие на восток советские армии, и советские же армии, наступающие на запад... Но и «Шаг времени», но и соединение всех времен ее стихов в книгу «Бег времени»! Как будто отдельные лирические — разновременные и разнохарактерные — миги-стихи она хочет слить в единое шествие: тут и соединение разновременных четверостиший в «вереницы», тут и стремительный бег к какой-то вечности... Время даже становится в какой-то степени обратимым:

А что, если вдруг откинуться  
 В какой-то семнадцатый век?

«А у нас отняли пространство, время, все отняли, ничего не осталось», — сказала Ахматова Н. А. Струве. Но творец, сознающий свою внутреннюю свободу, может сказать смело:

Я помню все одно и то же время,  
 Вселенную, перед собой, как бремя,  
 Нетрудное в протянутой руке,  
 Как дальний свет на дальнем маяке  
 Несу, а в недрах тайно зреет семя Грядущего...

«По внутреннему настроению души, — говорит Никита Стифат, — изменяется естество вещей». Преодоление времени и пространства в творчестве поздней Ахматовой, несомненно, от универсализма восточного христианства. Может быть, оттуда же и форма карнавального новогоднего шествия масок в «Поэме без героя». «Раскованными были и карнавальные шествия ряженных во время праздника (языческого по своему происхождению) брумалий, с которым тщетно пыталась бороться церковь еще в XII в., и корпоративные торжества, вроде шествия школяров, описанного Христофором Митиленским. И как характерно для средневекового человека то обнажение двойственности праздника, какое обнаруживается у Христофора: он рассказывает, что видел на следующий день, как был подвергнут порке тот, кто во время торжественной процессии шествовал в короне, наподобие царской. Буффонаду и маскарад ценила не только константинопольская улица, но и высшие слои византийской знати...» (*Каждан А. П.* Византийская культура. М., 1968. С. 144—145).

Крик петуший нам только снится,  
 За окошком Нева дымится,  
 Ночь бездонна и длится, длится —  
 Петербургская чертовня...  
 Этот рай, в котором мы не согрелили,  
 Тошен нам...

...Зеленеет трава, набухают почки, в окно льется законная синева. Воскресение природы, светлое обетованье нашего общего воскрешенья. Ахматова хорошо знала, что не поэзии, не литературе, как ни высоко она ценила «святое ремесло» поэта, — дано это великое дело — дело воскрешения. Но она, как мало кто, живо и непосредственно представляла живым и живыми все то, что она так любила, всех тех, кого она так любила. Она понимала, что смерть нашего исторического зона, как она ни трагична, не есть еще окончательная смерть — смерть моей

и других личностей. А ценность личности человеческой, любой личности, выше царств, культур и миров —

Завтра утро меня разбудит...  
...И в лицо мне смеяться будет  
Закононая синева...

